



*Александр
Руднев*

ПОСЕЩЕНИЕ

Александр Кушнер

Посещение

«Геликон Плюс»

2019

УДК 84.161.1
ББК 84(Рос=Рус)6

Кушнер А. С.

Посещение / А. С. Кушнер — «Геликон Плюс», 2019

ISBN 978-5-00098-233-4

«Посещение» – так назвал свое избранное Александр Кушнер, и стихотворение, открывающее книгу, начинается со слов: «Я тоже посетил...». Переключка с Пушкиным здесь закономерна, Кушнер опирается на традицию русской поэзии XIX–XX века. «Лирика Кушнера, – пишет в статье о нем Андрей Арьев, – есть связующая и непорываемая нить с интимным содержанием русской литературы в целом». Мотивы и поводы для стихов у Кушнера необычайно разнообразны. О чем бы ни подумал любящий стихи читатель Кушнера, он всегда может вспомнить его строки на ту же тему. И при всем тематическом разнообразии поражает единство кушнеровской поэтики. Если сравнить его первую книжку «Первое впечатление» (1962) с замыкающей избранное книгой «Над обрывом» (2018), то при всем очевидном различии в них есть нечто общее. Это общее – своеобразие душевного мира поэта. Его можно узнать по одной строфе (и даже строке). «Поэзия суть существование души, ищущее себе выход в языке, и Александр Кушнер – тот случай, когда душа обретает выход» – сказал о нем И. Бродский.

УДК 84.161.1

ББК 84(Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00098-233-4

© Кушнер А. С., 2019

© Геликон Плюс, 2019

Содержание

Посещение	8
Шестидесятые	12
«Первое впечатление» (1962)	12
«Когда я очень затоскую...»	12
Вводные слова	12
«Прозаик прозу долго пишет...»	13
Два мальчика	13
Рисунок	14
В защиту сентиментализма	15
Осень	15
«Там, где на дне лежит улитка...»	16
Графин	16
Ваза	17
«Ночной дозор» (1966)	18
«Декабрьским утром черно-синим...»	18
«О здание Главного штаба!..»	18
Старик	19
«Бог семейных удовольствий...»	20
Велосипедные прогулки	20
«Уехав, ты выбрал пространство...»	21
Ночной дозор	21
Гофман	22
Два наводнения	23
Монтень	23
«Удивляясь галопу...»	24
«Я в плохо проветренном зале...»	25
«Танцует тот, кто не танцует...»	26
«Чего действительно хотелось...»	26
«Закрою глаза и увижу...»	27
«Но и в самом легком дне...»	27
«Два лепета, быть может бормотанья...»	28
«Приметы» (1969)	29
«То, что мы зовем душой...»	29
«Свежеет к вечеру Нева...»	29
«Нет, не одно, а два лица...»	30
«Среди знакомых ни одна...»	31
Разговор	31
Этот вечер свободный	32
«Он встал в ленинградской квартире...»	32
«Когда тот польский педагог...»	33
Поклонение волхвов	33
Два голоса	34
«Жить в городе другом – как бы не жить...»	35
Памяти Анны Ахматовой	36
1	36
2	37

«Вижу, вижу спозаранку...»	37
Венеция	38
«Четко вижу двенадцатый век...»	38
Сирень	39
Стог	39
«Еще чего, гитара!..»	40
«Жизнь чужую прожив до конца...»	41
«Казалось бы, две тьмы...»	41
«На Мойке жил один старик...»	42
«Зачем Ван Гог вихреобразный...»	42
Путешествие	43
«Читая шинельную оду...»	43
Буквы	44
«И если в ад я попаду...»	45
«Вот сижу на шатком стуле...»	45
«Скатерть, радость, благодать!..»	46
Семидесятые	47
«Письмо» (1974)	47
«Эти вечные счета, расчеты, долги...»	47
«У меня зазвонил телефон...»	48
Сон	48
«Кто-то плачет всю ночь...»	49
«Человек привыкает...»	50
«Конверт какой-то странный, странный...»	50
Лавр	51
«Ну прощай, прощай до завтра...»	52
«Я к ночным облакам за окном присмотрюсь...»	52
«Расположение вещей...»	53
«Какое счастье, благодать...»	53
«Уходит лето. Ветер дует так...»	54
«О, слава, ты так же прошла за дождями...»	54
«Умереть, не побывав в Париже...»	55
Вместо статьи о Вяземском	56
Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки...	57
«Прямая речь» (1975)	60
«Приятель мой строг...»	60
«Себе бессмертье представляя...»	60
«Быть нелюбимым! боже мой!..»	61
«С утра по комнате кружа...»	62
«Показалось, что горе прошло...»	62
«Как люблю я полубред...»	62
В кафе	63
Белые ночи	64
«В тот год я жил дурными новостями...»	64
«Взметнутся голуби гирляндой черных нот...»	64
«Исследовав, как Критский лабиринт...»	65
«Взамен любовной переписки...»	66
«Голос» (1978)	68
Руины	68

«Слово «нервный» сравнительно поздно...»	69
«Я шел вдоль припухлой тяжелой реки...»	70
«Времена не выбирают...»	70
Разговор в прихожей	71
«Заснешь и проснешься в слезах от печального сна...»	72
«Сквозняки по утрам в занавесках и шторах...»	73
«Придешь домой, шурша плащом...»	73
«Ты так печальна, словно с уст...»	74
Мужчина с розой	74
«Любил – и не помнил себя, пробудясь...»	75
Куст	76
«Какое чудо, если есть...»	77
«Быть классиком – значит стоять на шкафу...»	77
«Ребенок ближе всех к небытию...»	78
«Контрольные. Мрак за окном фиолетов...»	78
«Был туман. И в тумане...»	79
Сложив крылья	80
«Сентябрь выметает широкой метлой...»	81
«С той стороны любви, с той стороны смертельной...»	81
«Как клен и рябина растут у порога...»	82
«Если камешки на две кучки спорных...»	82
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Александр Кушнер

Посещение

© Кушнер А. С., текст, 2019

© «Геликон Плюс», макет, 2019

Посещение

Я тоже посетил
Ту местность, где светил
Мне в молодости луч,
Где ивовый настил
Пружинил под ногой.
Узнать ее нет сил.
Я потерял к ней ключ.
Там не было такой
Ложбины, и перил
Березовых, и круч –
Их вид меня смутил.

Так вот оно что! Нет
Той топи и цветов,
И никаких примет,
И никаких следов.
И молодости след
Растаял и простыл.
Здесь не было кустов!
О, кто за двадцать лет
Нам землю подменил?

Неузнаваем лик
Земли – и грустно так,
Как будто сполз ледник
И слой вырос на слой.
А фильмов тех и книг
Чудовищный костяк!
А детский твой дневник,
Ушедший в мезозой!

Элегии чужды
Привычкам нашим, – нам
И нет прямой нужды
Раскапывать весь хлам,
Ушедший на покой,
И собирать тех лет
Подробности: киркой
Наткнешься на скелет
Той жизни и вражды.

В журнале «Крокодил»
Гуляет диплодок,
Как символ грозных сил,
Похожий на мешок.

Но, может быть, всего
Ужасней был бы вид
Для нас как раз того,
Чем сердце дорожит.

Есть карточка, где ты
С подругой давних лет
Любителем заснят.
Завалены ходы.
Туманней, чем тот свет.
Бледней, чем райский сад.
Там видно колею,
Что сильный дождь размыл.
Так вот – ты был в раю,
Но, видимо, забыл.

Я «Исповедь» Руссо
Как раз перечитал.
Так буйно заросло
Всё новым смыслом в ней,
Что книги не узнал,
Страниц ее, частей.
Как много новых лиц!
Завистников, певиц,
Распутниц, надувал.
Скажи, знаток людей,
Ты клеил, приписал?
Но ровен блеск полей
И незаметен клей.

А есть среди страниц
Такие, что вполне
Быть вписаны могли
Толстым, в другой стране,
Где снег и ковыли.

Дрожание ресниц,
Сердечной правды пыл.

Я тоже посетил.
Наверное, в наш век
Меняются скорей
Черты болот и рек;
Смотри: подорван тыл.
Обвал души твоей.
Не в силах человек
Замедлить жесткий бег
Лужаек и корней.

Я вспомнил москвичей,
Жалеющих Арбат.
Но берег и ручей
Тех улиц не прочней
И каменных наяд.

Кто б думал, что пейзаж
Проходит, как любовь,
Как юность, как мираж, –
Он видит ужас наш
И вскинутую бровь.

Мемориальных букв,
На белом – золотых,
Экскурсоводок-бук,
Жующих черствый стих,
Не видно. Молочай
Охраны старины
Не ведает. Прощай!
Тут нашей нет вины.

Луга сползают в смерть,
Как скатерть с бахромой.
Быть может, умереть –
Прийти к себе домой,
Не зажигая свет,
Не зацепив ногой
Ни стол, ни табурет.

Смеркается. Друзей
Всё меньше. Счастлив тем,
Что жил, при грусти всей,
Не делая проблем
Из разности слепой
Меж кем-то и собой,
Настолько был важней
Знак общности людей,
Доставшийся еще
От довоенных дней
И нынешних старух,
Что шли, к плечу плечо,
В футболках и трусах,
Под липким кумачом,
С гирляндами в руках.
О тополиный пух
И меди тяжкий взмах!
Ведь детство – это слух
И зренье, а не страх.

Продрался напролом,
Но луга не нашел.
Давай и мы уйдем
Легко, как он ушел.

Ты думал удивить
Набором перемен,
Накопленных тобой,
Но мокрые кусты
Не знают, с чем сличить
Отцветшие черты,
Поблекший облик твой,
Сентиментальных сцен
Стыдятся, им что ты,
Должно быть, что любой.

И знаешь, даже рад
Я этому: наш мир –
Не заповедник; склад
Его изменчив; дыр
Не залатать; зато
Новехонек для тех,
Кто вытащил в лото
Свой номер позже нас,
Чей шепоток и смех
Ты слышишь в поздний час.

1977

Шестидесятые

«Первое впечатление» (1962)

«Когда я очень затоскую...»

Когда я очень затоскую,
Достану книжку записную,
И вот ни крикнуть, ни вздохнуть –
Я позвоню кому-нибудь.
О голоса моих знакомых!
Спасибо вам, спасибо вам
За то, что вы бывали дома
По непробудным вечерам,
За то, что в трудном переплете
Любви и горя своего
Вы забывали, как живете,
Вы говорили: «Ничего».
И за обычными словами
Была такая доброта,
Как будто Бог стоял за вами
И вам подсказывал тогда.

Вводные слова

Возьмите вводные слова.
От них кружится голова,
Они мешают суть сберець
И замедляют нашу речь.
И все ж удобны потому,
Что выдают легко другим,
Как мы относимся к тому,
О чем, смущаясь, говорим.
Мне скажут: «К счастью...»
И потом
Пусть что угодно говорят,
Я слушаю с открытым ртом
И радуюсь всему подряд.
Меня, как всех, не раз, не два
Спасали вводные слова,
И чаще прочих среди них
Слова «во-первых, во-вторых».
Они, начав издавека,

Давали повод не спеша
Собратся с мыслями, пока
Бог знает где была душа.

«Прозаик прозу долго пишет...»

Прозаик прозу долго пишет.
Он разговоры наши слышит,
Он распивает с нами чай
При этом льет такие пули!
При этом как бы невзначай
Глядит, как ты сидишь на стуле.

Он, свой роман в уме построив,
Летит домой, не чуя ног,
И там судьбой своих героев
Распоряжается, как бог.

То судит их, то выручает,
Им зонтик вовремя вручает,
Сначала их в гостях сведет,
Потом на улице столкнет,
Изобразит их удивленье.
Не верю в эти совпаденья!
Сиди, прозаик, тих и нем.
Никто не встретился ни с кем.

Два мальчика

А. Битову

Два мальчика, два тихих обормотика,
ни свитера,
ни плащика,
ни зонтика,
под дождичком
на досточке
качаются,
а песенки у них уже кончаются,
Что завтра? Понедельник или пятница?
Им кажется, что долго детство тянется.
Поднимется один,
другой опустится.
К плечу прибилась бабочка
капустница.

Качаются весь день с утра и до ночи.
Ни горя,
ни любви,
ни мелкой сволочи.
Всё в будущем,
за морем одуванчиков.
Мне кажется, что я – один из мальчиков.

Рисунок

Ни царств, ушедших в сумрак,
Ни одного царя –
Ассирия! – рисунок
Один запомнил я.

Там злые ассирийцы
При копьях и щитах
Плывут вдоль всей страницы
На бычьих пузырях.

Так чудно плыть без лодки!
И брызги не видны,
И плоские бородки
Касаются волны.

Так весело со всеми
Качаться на волне.
«Эй, воин в остром шлеме,
Не страшно на войне?»

Эй, воин в остром шлеме,
Останешься на дне!»
Но воин в остром шлеме
Не отвечает мне.

Совсем о них забуду.
Бог весть в каком году
Я в хламе рыться буду –
Учебник тот найду

В картонном переплете.
И плеск услышу в нем.
«Вы всё еще плывете?» –
«Мы всё еще плывем!»

В защиту сентиментализма

Где кончаются ромашки,
Начинаются замашки.
Я признаюсь по секрету,
Мне не нравится бензин.
Дальновидней всех поэтов
Был историк Карамзин.
Он открыл среди полянок
Много милых поселянок,
Он заметил среди полян
Много мирных поселян.
Что они любить умеют,
Обнаружил тоже он.
Пастушки, когда стемнеет,
Ходят к милым на поклон.
Так проходят дни недели...
Что ж имеем, в самом деле?
Люди лижут валидол,
На язык кладут лекарства,
А полезней вол и дол,
Деревенское лукавство.
Там и ста не встретишь лиц,
Под окном не чинят кабель.
Пребыванье вне столиц
Здоровей сердечных капель.

Осень

Деревья листву отряхают,
И солнышко сходит на нет.
Всю осень грустят и вздыхают
Полонский, и Майков, и Фет.
Всю осень, в какую беседку
Ни сунься – мелькают впотьмах
Их брюки в широкую клетку,
Тяжелые трости в руках.
А тут, что ни день, перемены:
Слетает листок за листком.
И снова они современны
С безумным своим шепотком.
Как штопор, вонзится листочек
В прохладный и рыхлый песок –
Как будто не вытянул летчик,
Неправильно взял, на глазок.

Охота к делам пропадает,
И в воздухе пахнет зимой.
«Мой сад с каждым днем увядает».
И мой увядает! И мой!

«Там, где на дне лежит улитка...»

Там, где на дне лежит улитка,
Как оркестровая труба,
Где пескари шныряют прытко
И ждет их страшная судьба

В лице неумолимой шуки, –
Там нимфы нежные живут
И к нам протягивают руки,
И слабым голосом зовут.

У них особые подвиды.
В ручьях красуются наяды,
Среди густых деревьев – дриады,
И в море синем – nereиды.

Их путать так же неприлично,
Как, скажем, лютик водяной,
И африканский, необычный,
И ядовитый луговой.

Отнюдь не праздное всезнайство!
Поэт, усилий не жалея,
Не запускай свое хозяйство
И будь подробен, как Линней.

Графин

Вода в графине – чудо из чудес,
Прозрачный шар, задержанный в паденье!
Откуда он? Как очутился здесь?
На столике, в огромном учрежденье?
Какие предрассветные сады
Забыли мы и помним до сих пор мы?
И счастлив я способностью воды
Покорно повторять чужие формы.
А сам графин плывет из пустоты,
Как призрак льдин, растаявших однажды,
Как воплощенье горестной мечты

Несчастливых тех, что умерли от жажды.
Что делать мне?
Отпить один глоток,
Подняв стакан? И чувствовать при этом,
Как подступает к сердцу холодок
Невыносимой жалости к предметам?
Когда сотрудница заговорит со мной,
Вздохну, но это не ее заслуга.
Разделены невидимой стеной,
Вода и воздух смотрят друг на друга.

Ваза

На античной вазе выступает
Человечков дивный хоровод.
Непонятно, кто кому внимает,
Непонятно, кто за кем идет.

Глубока старинная насечка,
Каждый пляшет и чему-то рад.
Среди них найду я человечка
С головой, повернутой назад.

Он высоко ноги поднимает,
Он вперед стремительно летит,
Но как будто что-то вспоминает
И назад, как в прошлое, глядит.

Что он видит? Горе неуместно.
То ли машет милая рукой,
То ли друг взывает – неизвестно!
Потому и грустный он такой.

Старый мастер, резчик по металлу,
Жизнь мою в рисунок разверни, –
Я пойду кружиться до отвалу
И плясать не хуже, чем они.

И в чужие вслушиваться речи,
И под бубен прыгать невпопад,
Как печальный этот человечек
С головой, повернутой назад.

«Ночной дозор» (1966)

«Декабрьским утром черно-синим...»

Декабрьским утром черно-синим
Тепло домашнее покинем
И выйдем молча на мороз.
Киоск фанерный льдом зарос,
Уходит в небо пар отвесный,
Деревья бьет сырая дрожь,
И ты не дремлешь, друг прелестный,
А щеки варежкой трешь.

Шел ночью снег. Скребут скребками.
Бегут кто тише, кто быстрее.
В слезах, под теплыми платками,
Пронесут сонных малышей.
Как не похожи на прогулки
Такие выходы к реке!
Мы дрогнем в темном переулке
На ленинградском сквозняке.

И я усилием привычным
Вернуть стараюсь красоту
Домам, и скверам безразличным,
И пешеходу на мосту.
И пропускаю свой автобус,
И замерзаю, весь в снегу,
Но жить, покуда этот фокус
Мне не удался, не могу.

«О здание Главного штаба!..»

О здание Главного штаба!
Ты желтой бумаги рулон,
Размотанный слева направо
И вогнутый, как небосклон.

О море чертежного глянца!
О неба холодная высь!
О, вырвись из рук итальянца
И в трубочку снова свернись.

Под плащ его серый, под мышку.

Чтоб рвался и терся о шов,
Чтоб шел итальянец вприпрыжку
В тени петербургских садов.

Под ветром, на холоде диком,
Едва поглядев ему вслед,
Смекну: между веком и мигом
Особенной разницы нет.

И больше, чем стройные зданья,
В чертах полюблю городских
Веселое это сознание
Таинственной зыбкости их.

Старик

Кто тише старика,
Попавшего в больницу,
В окно издалика
Глядящего на птицу?

Кусты ему видны,
Прижатые к киоску.
Висят на нем штаны
Больничные, в полоску.

Бухгалтером он был
Иль стекла мазал мелом?
Уж он и сам забыл,
Каким был занят делом.

Сражался в домино
Иль мастерил динамик?
Теперь ему одно
Окно, как в детстве пряник.

И дальний клен ему
Весь виден, до прожилок,
Быть может, потому,
Что дышит смерть в затылок.

Вдруг подведут черту
Под ним, как пишут смету,
И он уже – по ту,
А дерево – по эту.

«Бог семейных удовольствий...»

Бог семейных удовольствий,
Мирных сценок и торжеств,
Ты, как сторож в садоводстве,
Стар и добр среди божеств.

Поручил ты мне младенца,
Подарил ты мне жену,
Стол, и стул, и полотенце,
И ночную тишину.

Но голландского покроя
Мастерство и благодать
Не дают тебе покоя
И мешают рисовать.

Так как знаем деньгам цену,
Ты рисуешь нас в трудах,
А в уме лелеешь сцену
В развлечениях и цветах.

Ты бокал суешь мне в руку,
Ты на стол швыряешь дичь
И сажаешь нас по кругу
И не можешь нас постичь!

Мы и впрямь к столу присядем,
Лишь тебя не убедим,
Тихо мальчика погладим,
Друг на друга поглядим.

Велосипедные прогулки

Велосипедные прогулки!
Шмели и пекло на проселке.
И солнце, яркое на втулке,
Подслеповатое – на елке.

И свист, и скрип, и скрежетанье
Из всех кустов, со всех травинок,
Колес приятное мельканье
И блеск от крылышек и спинок.

Какой высокий зной палящий!

Как этот полдень долго длится!
И свет, и мгла, и тени в чаше,
И даль, и не с кем поделиться.

Есть наслаждение дорогой
Еще в том смысле, самом узком,
Что связан с пылью, и морокой,
И каждым склоном, каждым спуском.

Кто с сатаной по переулку
Гулял в старинном переплете,
Велосипедную прогулку
Имел в виду иль что-то вроде.

Где время? Съехав на запястье,
На ремешке стоит постыдно.
Жара. А если это счастье,
То где конец ему? Не видно.

«Уехав, ты выбрал пространство...»

Уехав, ты выбрал пространство,
Но время не хуже его.
Действительны оба лекарства:
Не вспомнить теперь ничего.
Наверное, мог бы остаться –
И был бы один результат.
Какие-то степи дымятся,
Какие-то тени летят.
Потом ты опомнишься: где ты?
Неважно. Допустим, Джанкой.
Вот видишь: две разные Леты,
А пить все равно из какой.

Ночной дозор

На рассвете тих и странен
Городской ночной дозор.
Хорошо! Никто не ранен.
И служебный близок двор.

Голубые тени башен,
Тяжесть ружей на плече.
Город виден и не страшен.
Не такой, как при свече.

Мимо вывески сапожной,
Мимо старой каланчи,
Мимо шторы ненадежной,
Пропускающей лучи.

«Кто он, знахарь или картежник,
Что не гасит ночью свет?» –
«Капитан мой! То художник.
И клянусь, чуднее нет.

Никогда не знаешь сразу,
Что он выберет сейчас:
То ли окорок и вазу,
То ли дерево и нас.

Не поймешь по правде даже,
Рассмотрев со всех сторон,
То ли мы – ночная стража
В этих стенах, то ли он».

Гофман

Одну минуточку, я что хотел спросить:
Легко ли Гофману три имени носить?
О, горевать и уставать за трех людей
Тому, кто Эрнст, и Теодор, и Амадей.
Эрнст – только винтик, канцелярии юрист,
Он за листом в суде марает новый лист,
Не рисовать, не сочинять ему, не петь –
В бюрократической машине той скрипеть.

Скрипеть, потеть, смягчать кому-то приговор.
Куда удачливее Эрнста Теодор.
Придя домой, преодолая боль в плече,
Он пишет повести ночами при свече.
Он пишет повести, а сердцу все грустней.
Тогда приходит к Теодору Амадей,
Гость удивительный и самый дорогой.
Он, словно Моцарт, машет в воздухе рукой.

На Фридрихштрассе Гофман кофе пьет и ест.
«На Фридрихштрассе», – говорит тихонько Эрнст.
«Ах нет, направо!» – умоляет Теодор.
«Идем налево, – оба слышат, – и во двор».
Играет флейта еле-еле во дворе,
Как будто школьник водит пальцем в букваре,

«Но все равно она, – вздыхает Амадей, –
Судебных записей милей и повестей».

Два наводнения

Два наводнения, с разницей в сто лет,
Не проливают ли какой-то свет
На смысл всего?
Не так ли ночью темной
Стук в дверь не то, что стук двойной, условный.

Вставали волны так же до небес,
И ветер выл, и пена клокотала,
С героя шляпа легкая слетала,
И он бежал волне наперерез.

Но в этот раз к безумью был готов,
Не проклинал, не плакал. Повторений
Боялись все. Как некий скорбный гений,
Уже носился в небе граф Хвостов.

Вольно же ветру волны гнать и дуть!
Но волновал сюжет Серапионов,
Им было не до волн – до патефонов,
Игравших вальс в Коломне где-нибудь.

Зато их внуков, мучая и длясь,
Совсем другая музыка смущала.
И с детства, помню, душу волновала
Двух наводнений видимая связь.

Похоже, дважды кто-то с фонаря
Заслонку снял, а в темном интервале
Бумаги жгли, на балах танцевали,
В Сибирь плелись и свергнули царя.

Вздымался вал, как схлынувший точь-в-точь
Сто лет назад, не зная отклонений.
Вот кто герой! Не Петр и не Евгений.
Но ветер. Но мрак. Но ветреная ночь.

Монтень

Монтень вокруг сиянье льет,
Сверкает череп бритый,

И, значит, вместе с ним живет
Тот брадобрей забытый.

Монтеня душат кружева
На сто второй странице –
И кружевница та жива,
И пальчик жив на спице.

И жив тот малый разбитной,
А с ним его занятье,
Тот недоучка, тот портной,
Расшивший шелком платье.

Едва Монтень раскроет рот,
Чтоб рассказать о чести,
Как вся компания пойдет
Болтать с Монтенем вместе.

Они судачат вкривь и вкось,
Они резвы, как дети.
О лжи. О снах. О дружбе врозь.
И обо всем на свете.

«Удивляясь галопу...»

Удивляясь галопу
Кочевых табунов,
Хоронили Европу,
К ней любовь поборов.

Сколько раз хоронили,
Славя конскую статью,
Шею лошади в мыле.
И хоронят опять.

Но полощутся флаги
На судах в тесноте,
И дрожит Копенгаген,
Отражаясь в воде,

И блестят в Амстердаме
Цеховые дома,
Словно живопись в раме
Или вечность сама.

Хорошо, на педали
Потихоньку нажав,

В городок на канале
Въехать, к сердцу прижав

Не сплошной, философский,
Но обычный закат,
Бледно-желтый, чуть жесткий,
Золотящий фасад.

Впрочем, нам и не надо
Уезжать никуда,
Вон у Летнего сада
Розовеет вода,

И у каменных лестниц,
Над петровской Невой,
Ты глядишь, европеец,
На закат золотой.

«Я в плохо проветренном зале...»

Я в плохо проветренном зале
На краешке стула сидел
И, к сердцу ладонь прижимая,
На яркую сцену глядел.

Там пели трехслойные хоры,
Квартет баянистов играл,
И лебедь под скорбные звуки
У рампы раз пять умирал.

Там пляску пускали за пляской,
Летела щепка из-под ног –
И я в перерыве с опаской
На круглый взглянул потолок.

Там был нарисован зеленый,
Весь в райских цветах небосвод,
И ангелы, за руки взявшись,
Нестройный вели хоровод.

Ходили по кругу и пели.
И вид их решительный весь
Сказал мне, что ждут нас на небе
Концерты не хуже, чем здесь.

И господи, как захотелось
На волю, на воздух, на свет,

Чтоб там не плясало, не пелось,
А главное, музыки нет!

«Танцует тот, кто не танцует...»

Танцует тот, кто не танцует,
Ножом по рюмочке стучит.
Гарцует тот, кто не гарцует,
С трибуны машет и кричит.

А кто танцует в самом деле
И кто гарцует на коне,
Тем эти пляски надоели,
А эти лошади – вдвойне!

«Чего действительно хотелось...»

Чего действительно хотелось,
Так это города во мгле,
Чтоб в небе облако вертелось
И тень кружилась по земле.

Чтоб смутно в воздухе неясном
Сад за решеткой зеленел
И лишь на здании прекрасном
Шпиль невысокий пламенел.

Чего действительно хотелось,
Так это зелени густой.
Чего действительно хотелось,
Так это площади пустой.

Горел огонь в окне высоком,
И было грустно оттого,
Что этот город был под боком
И лишь не верилось в него.

Ни в это призрачное небо,
Ни в эти тени на домах,
Ни в самого себя, нелепо
Домой идущего впотьмах.

И в силу многих обстоятельств
Любви, схватившейся с тоской,
Хотелось больших доказательств,

Чем те, что были под рукой.

«Закрою глаза и увижу...»

Закрою глаза и увижу
Тот город, в котором живу,
Какую-то дальнюю крышу,
И солнце, и вид на Неву.

В каком-то печальном прозрень
Увижу свой день роковой,
Предсмертную боль, и хрипень,
И блеск облаков над Невой.

О боже, как нужно бессмертье,
Не ради любви и услад,
А ради того, чтобы ветер
Дул в спину и гнал наугад.

Любое стерпеть унижень
Не больно, любую хулу
За легкое это движень
С замахом полы за полу.

За вечно наставленный ворот,
За синюю невскую прыть,
За этот единственный город,
Где можно и в горе прожить.

«Но и в самом легком дне...»

Но и в самом легком дне,
Самом тихом, незаметном,
Смерть, как зернышко на дне,
Светит блеском разноцветным.
В рощу, в поле, в свежий сад,
Злей хвоща и молочая,
Проникает острый яд,
Сердце тайно обжигая.

Словно кто-то за кустом,
За сараем, за буфетом
Держит перстень над вином
С монограммой и секретом.
Как черна его спина!

Как блестит на перстне солнце!
Но без этого зерна
Вкус не тот, вино не пьется.

«Два лепета, быть может бормотанья...»

Два лепета, быть может бормотанья,
Подслушал я, проснувшись, два дыханья.
Тяжелый куст под окнами дрожал,
И мальчик мой, раскрыв глаза, лежал.

Шли капли мимо, плакали на марше.
Был мальчик мал,
куст был намного старше.
Он опыт свой с неведеньем сличил
И первым звукам мальчика учил.

Он делал так: он вздрагивал ветвями
И гнал их вниз, и стлался по земле,
А мальчик то же пробовал губами,
И выходило вроде «ле-ле-ле»

И «ля-ля-ля». Но им казалось: мало!
И куст старался, холодом дыша,
Поскольку между ними не вставала
Та тень, та блажь по имени душа.

Я тихо встал, испытывая трепет,
Вспугнуть боясь и легкий детский лепет,
И лепетанье листьев под окном –
Их разговор на уровне одном.

«Приметы» (1969)

«То, что мы зовем душой...»

То, что мы зовем душой,
Что, как облако, воздушно
И блестит во тьме ночной
Своенравно, непослушно
Или вдруг, как самолет,
Тоньше колющей булавки,
Корректирует с высот
Нашу жизнь, внося поправки;

То, что с птицей наравне
В синем воздухе мелькает,
Не сгорает на огне,
Под дождем не размокает,
Без чего нельзя вздохнуть,
Ни глупца простить в обиде;
То, что мы должны вернуть,
Умирая, в лучшем виде, –

Это, верно, то и есть,
Для чего не жаль стараться,
Что и делает нам честь,
Если честно разобраться.
В самом деле хороша,
Бесконечно старомодна,
Тучка, ласточка, душа!
Я привязан, ты – свободна.

«Свежеет к вечеру Нева...»

Свежеет к вечеру Нева.
Под ярким светом
Рябит и тянется листва
За нею следом.

Посмотришь: рядом два коня
На свет, к заливу
Бегут, дистанцию храня,
Вздымая гриву.

Пока крадешься мимо них

Путем чудесным,
Подходит к горлу новый стих
С дыханьем тесным.

И этот прыгающий шаг
Стиха живого
Тебя смущает, как пиджак
С плеча чужого.

Известный, в сущности, наряд.
Чужая мета:
У Пастернака вроде взят,
А им – у Фета.
Но что-то сердцу говорит,
Что всё – иначе.
Сам по себе твой тополь мчит
И волны скачут.

На всякий склад, что в жизни есть
С любой походкой –
Всех вариантов пять иль шесть
Строки короткой.

Кто виноват: листва ли, ветер?
Невы волненье?
Иль тот, укрытый, кто так щедр
На совпадения?

«Нет, не одно, а два лица...»

Нет, не одно, а два лица,
Два смысла, два крыла у мира.
И не один, а два отца
Взывают к мести у Шекспира.

В Лаэрте Гамлет видит боль,
Как в перевернутом бинокле.
А если этот мальчик – моль,
Зачем глаза его намокли?

И те же складочки у рта,
И так же вещи дома жгутся.
Вокруг такая теснота,
Что невозможно повернуться.

Ты так касаешься плеча,
Что поворот вполоборота,

Как поворот в замке ключа,
Приводит в действие кого-то.

Отходит кто-то второпях,
Поспешно кто-то руку прячет,
И, оглянувшись, весь в слезах,
Ты видишь: рядом кто-то плачет.

«Среди знакомых ни одна...»

Среди знакомых ни одна
Не бросит в пламя денег пачку,
Не пошатнется, впад в горячку,
В дверях, бледнее полотна.
В концертный холод или сквер,
Разогреваясь понемногу,
Не пронесет, и слава богу,
Шестизарядный револьвер.

Я так и думал бы, что бред
Все эти тени роковые,
Когда б не туфельки шальные,
Не этот, издали, привет.
Разят дешевые духи,
Не хочет сдержанности мудрой,
Со щек стирает слезы с пудрой
И любит жуткие стихи.

Разговор

Мне звонят, говорят: – Как живете
– Сын в детсаде. Жена на работе.
Вот сижу, завернувшись в халат.
Дум не думаю. Жду: позвонят.

А у вас что? Содом? Суматоха?
– И у нас, – отвечает, – неплохо.
Муж уехал. – Куда? – На восток.
Вот сижу, завернувшись в платок.

– Что-то нынче и вправду не топят.
Или топливо на зиму копят?
Ну и мрак среди белого дня!
Что-то нынче нашло на меня.

– И на нас, – отвечает, – находит.
То ли жизнь в самом деле проходит,
То ли что... Я б зашла... да потом
Будет плохо. – Спасибо на том.

Этот вечер свободный

Т.

Этот вечер свободный
Можно так провести:
За туманный Обводный
Невзначай забрести
Иль взойти беззаботней,
Чем гуляка ночной,
По податливым сходням
На кораблик речной.

В этот вечер свободный
Можно съежиться, чтоб
Холодок мимолетный
По спине и озноб,
Ощутить это чудо,
Как вино винодел,
За того, кто отсюда
Раньше нас отлетел.

Наконец, этот вечер
Можно так провести:
За бутылкой, беспечно,
Одному, взаперти.
В благородной манере,
Как велел Корнуолл,
Пить за здоровье Мери,
Ставя кубок на стол.

«Он встал в ленинградской квартире...»

Он встал в ленинградской квартире,
Расправив среди тишины
Шесть крыл, из которых четыре,
Я знаю, ему не нужны.

Вдруг сделалось пусто и звонко,
Как будто нам отперли зал.

– Смотри, ты разбудишь ребенка! –
Я чудному гостю сказал.

Вот если бы легкие ночи,
Веселость, здоровье детей...
Но кажется, нет средь пророчеств
Таких несерьезных статей.

«Когда тот польский педагог...»

Когда тот польский педагог,
В последний час не бросив сирот,
Шел в ад с детьми и новый Ирод
Торжествовать злодейство мог,
Где был любимый вами бог?
Или, как думает Бердяев,
Он самых слабых негодяев
Слабей, заоблачный дымок?

Так, тень среди других теней,
Чудак, великий неудачник.
Немецкий рыжий автоматчик
Его надежней и сильней,
А избиением детей
Полны библейские преданья,
Никто особого вниманья
Не обращал на них, ей-ей.

Но философии урок
Тоски моей не заглушает,
И отвращенье мне внушает
Нездешний этот холодок.
Один возможен был бы бог,
Идущий в газовые печи
С детьми, под зло подставив плечи,
Как старый польский педагог.

Поклонение волхвов

В одной из улочек Москвы,
Засыпанной метелью,
Мы наклонялись, как волхвы,
Над детской колыбелью.

И что-то, словно ореол,

Поблескивало тускло,
Покуда ставились на стол
Бутылки и закуска.

Мы озирали полумглу
И наклонялись снова.
Казалось, шурились в углу
Теленок и корова.

Как будто Гуго ван дер Гус
Нарисовал всё это:
Волхвов, хозяйку с ниткой бус,
В дверях полоску света.

И вообще такой покой
На миг установился:
Не страшен Ирод никакой,
Когда бы он явился.

Весь ужас мира, испокон
Стоящий в отдаленье,
Как бы и впрямь заморожен,
Подался на мгновенье.

Под стать библейской старине
В ту ночь была Волхонка.
Снежок приветствовал в окне
Рождение ребенка.

Оно собрало нас сюда
Проулками, садами,
Сопровождаясь, как всегда,
Простыми чудесами.

Два голоса

Озирая потемки,
расправляя рукой
с узелками тесемки
на подушке сырой,
рядом с лампочкой
синей не засну в полутьме
на дорожной перине,
на казенном клейме.

– Ты, дорожные знаки
подносящий к плечу,

я сегодня во мраке,
как твой ангел, лечу.
К моему изголовью
подступают кусты.
Помоги мне! С любовью
не справляюсь, как ты.

– Не проси облегченья
от любви, не проси.
Согласись на мученье
и губу прикуси.
Бодрствуй с полночью
вместе, не мечтай разлюбить.
Я тебе на разъезде
посвечу, так и быть.

– Ты, фонарь подносящий,
как огонь к сургучу,
я над речкой и чашей,
как твой ангел, лечу.
Синий свет худосочный,
отраженный в окне,
вроде жилки височной,
не погасшей во мне.

– Не проси облегченья
от любви, его нет.
Поздней ночью – свеченье,
днем – сиянье и свет.
Что весной развлеченье,
тяжкий труд к декабрю.
Не проси облегченья
от любви, говорю.

«Жить в городе другом – как бы не жить...»

Жить в городе другом – как бы не жить.
При жизни смерть дана, зовется – расстоянье.
Не торопи меня. Мне некуда спешить.
Летит вагон во тьму. О, смерти нарастанье!

Какое мне письмо докажет: ты жива?
Мне кажется, что ты во мраке таешь, таешь.
Беспомощен привет, бессмысленны слова.
Тебя в разлуке нет, при встрече – оживаешь.

Гремят в промозглой мгле бетонные мосты.

О ком я так томлюсь, в тоске ломая спички?
Теперь любой пустяк действительней, чем ты:
На столике стакан, на летчике петлички.

На свете, где и так всё держится едва,
На ниточке висит, цепляется, вот рухнет,
Кто сделал, чтобы ты жива и нежива
Была, как тот огонь: то вспыхнет, то потухнет?

Памяти Анны Ахматовой

1

Волна темнее к ночи,
Уключина стучит.
Харон неразговорчив,
Но и она – молчит.

Обшивку руки гладят,
А взгляд, как в жизни, тверд.
Пред нею волны катят
Коцит и Ахеронт.

Давно такого груза
Не поднимал челнок.
Летает с криком Муза,
А ей и невдомек.

Опять она нарядна,
Спокойна, молода.
Легка и чуть прохладна
Последняя беда.

Другую бы дорогу,
В Компьен или Париж...
Но этой, слава богу,
Ее не удивишь.

Свиданьем предстоящим
Взволнована чуть-чуть.
Но дышит грудь не чаще,
Чем в Царском где-нибудь.

Как всякий дух бесплотный
Очерчена штрихом,
Свой путь бесповоротный

Сверяет со стихом.

Плывет она в тумане
Средь чудищ, мимо скал
Такой, как Модильяни
Ее нарисовал.

2

Поскольку скульптор не снимал
С ее лица посмертной маски,
Лба крутизну, щеки провал
Ты должен сам предать огласке.

Такой на ней был грозный свет
И губы мертвые так сжаты,
Что понял я: прощенья нет!
Отмщение всем, кто виноваты.

Ее лежание в гробу
На Страшный суд похоже было.
Как будто только что в трубу
Она за ангела трубила.

Неумолима и строга,
Среди заоблачного зала
На неподвижного врага
Одною бровью показала.

А здесь от свечек дым не дым,
Страх совершал над ней облёты.
Или нельзя смотреть живым
На сны загробные и счёты?

«Вижу, вижу спозаранку...»

Вижу, вижу спозаранку
Устремленные в Неву
И Обводный, и Фонтанку,
И похожую на склянку
Речку Кронверку во рву.

И каналов без уздечки
Вижу утреннюю прыть,
Их названья на дощечке,
И смертельной Черной речки

Ускользящую нить.

Слышу, слышу вздох неловкий,
Плач по жизни прожитой,
Вижу Екатерингофки
Блики, отблески, подковки
Жирный отсвет нефтяной.

Вижу серого оттенка
Мойку, женщину и зонт,
Крюков, лезущий на стенку,
Пряжку, Карповку, Смоленку,
Стикс, Коцит и Ахеронт.

Венеция

Венеция, когда ты так блестяшь,
Как будто я тебя и вправду вижу,
И дохлую в твоём канале мышь,
И статую, упрятанную в нишу, –

Мне кажется, во дворик захожу
Свисает с галереи коврик. Лето.
Стоит монах. К второму этажу
С тряпьем веревку поднял Каналетто.

Нет, Тютчев это мне тебя напел.
Напел. Нет, это Блок тебя навеял.
Нет, это сам я фильм такой смотрел:
Француз вояж в Италию затеял,

Дурак француз, в двубортном пиджачке.
Плеск голубей. Собор Святого Марка.
О, как светло! Крутись на каблучке.
О, как светло, о, смилуйся, как ярко!

«Четко вижу двенадцатый век...»

Четко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь – там услышат твой голос.
Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.

А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дожидаться письма.
Даром волны шумят, набегая.
Иль и впрямь европейский роман
Отменен, похоронен Тристан?
Или ласточек нет, дорогая?

Сирень

Фиолетовой, белой, лиловой,
Ледяной, голубой, бестолковой
Перед взором предстанет сирень.
Летний полдень разбит на осколки,
Острых листьев блестят треуголки,
И, как облако, стелется тень.

Сколько свежести в ветви тяжелой,
Как стараются важные пчелы,
Допотопная блещет краса!
Но взглядишь в эти вспышки и блески:
Здесь уже побывал Кончаловский,
Трогал кисти и шурил глаза.

Тем сильнее у забора с канавкой
Восхищение наше, с поправкой
На тяжелый музейный букет,
Нависяющий в желтой плетенке
Над столом, и две грозди в сторонке,
И от локтя на скатерти след.

Стог

Б. Я. Бухитабу

*На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал.*

А. Фет

Я к стогу сена подошел.
Он с виду ласковым казался.
Я боком встал, плечом повел,
Так он кололся и кусался.

Он горько пахнул и дышал,

Весь колыхался и дымился.
Не знаю, как на нем лежал
Тяжелый Фет? Не шевелился?

Ползли какие-то жучки
По рукавам и отворотам,
И запотевшие очки
Покрылись шелковым налетом.

Я гладил пыль, ласкал труху,
Я порывался в жизнь иную,
Но бога не было вверху,
Чтоб оправдать тщету земную.

И голый ужас, без одежд,
Сдавив, лишил меня движений.
Я падал в пропасть без надежд,
Без звезд и тайных утешений.

Ополоумев, облака
Летели, серые от страха.
Чесалась потная рука,
Блестела мокрая рубаха.

И в целом стоге под рукой,
Хоть всей спиной к нему прижаться,
Соломки не было такой,
Чтоб, ухватившись, задержаться!

«Еще чего, гитара!...»

Еще чего, гитара!
Засученный рукав.
Любезная отравка.
Засунь ее за шкаф.

Пускай на ней играет
Григорьев по ночам,
Как это подобает
Разгульным москвичам.

А мы стиху сухому
Привержены с тобой.
И с честью по-другому
Справляемся с бедой.

Дымок от папиросы

Да ветренный канал,
Чтоб злые наши слезы
Никто не увидал.

«Жизнь чужую прожив до конца...»

Жизнь чужую прожив до конца,
Умерев в девятнадцатом веке,
Смертный пот вытирая с лица,
Вижу мельницы, избы, телеги.

Биографии тем и сильны,
Что обнять позволяют за сутки
Двух любовниц, двух жен, две войны
И великую мысль в промежутке.

Пригождайся нам, опыт чужой,
Свет вечерний за полостью пыльной,
Тишина, пять-шесть строф за душой
И кусты по дороге из Вильны.

Даже беды великих людей
Дарят нас прибавлением жизни,
Звездным небом, рысцей лошадей
И вином, при его дешевизне.

«Казалось бы, две тьмы...»

Казалось бы, две тьмы,
В начале и в конце,
Стоят, чтоб жили мы
С тенями на лице.

Но не сравним густой
Мрак, свойственный гробам,
С той дружелюбной тьмой,
Предшествовавшей нам.

Я с легкостью смотрю
На снимок давних лет.
«Вот кресло, – говорю, –
Меня в нем только нет».

Но с ужасом гляжу
За черный тот предел,

Где кресло нахожу,
В котором я сидел.

«На Мойке жил один старик...»

На Мойке жил один старик.
Я представляю горы книг.
Он знал того, он знал другого.
Но всё равно, не потому
Приятель звал меня к нему
Меж делом, бегло, бестолково.

А потому, что, по словам
Приятеля, обоим нам
Была бы в радость встреча эта.
– Вы б столкнулись в тот же миг:
Одна печаль, один язык
И тень забытого поэта!

Я собирался много раз,
Но дождь, дела и поздний час,
Я мрачен, он нерасположен.
И вот я слышу: умер он.
Визит мой точно отменен.
И кто мне скажет, что отложен?

«Зачем Ван Гог вихреобразный...»

Зачем Ван Гог вихреобразный
Томит меня тоской неясной?
Как желт его автопортрет!
Перевязав больное ухо,
В зеленой куртке, как старуха,
Зачем глядит он мне вослед?

Зачем в кафе его полночном
Стоит лакей с лицом порочным?
Блестит бильярд без игроков?
Зачем тяжелый стул поставлен
Так, что навек покой отравлен,
Ждешь слез и стука башмаков?

Зачем он с ветром в крону дует?
Зачем он доктора рисует
С нелепой веточкой в руке?

Куда в косом его пейзаже
Без седока и без поклажи
Спешит коляска налегке?

Путешествие

Что-то мне волны лазурные снятся,
Катятся, лащаются, жмутся, теснятся,
Мчатся назад и в обход.
Нет, не привычное Черное море,
А миражи в незнакомом просторе,
Белый, как соль, пароход.

Плыть? Но куда? На огней вереницу.
В Геную, Падую, Специю, Ниццу.
Что там, не видно ль земли?
Странно: в глаза не глядят мне матросы.
Крепко натянуты мощные тросы.
Нет, не Везувий вдали.

Припоминаю, что был уже случай.
Мне отвечают: «Себя ты не мучай,
Детские страхи откинь».
Нет, не в Италии мы и не в Польше.
Что-то мне это не нравится больше:
Гладь не такая и синь.

Так Баратынский с его пироскафом
Думал увидеть, как мячик за шкафом,
Влажный Элизий земной,
Башни Ливурны, а ждал его тесный
Ящик дубовый, Элизий небесный,
Серый кладбищенский зной.

«Читая шинельную оду...»

Читая шинельную оду
О свойствах огромной страны,
Меняющей быт и погоду
Раз сто до китайской стены,
Представил я реки, речушки,
Пустыни и Берингов лед –
Всё то, что зовется: от Кушки
До Карских студеных Ворот.

Как много от слова до слова
Пространства, тоски и судьбы!
Как ветра и снега от Львова
До Обской холодной губы.
Так вот что стоит за плечами
И дышит в затылок, как зверь,
Когда ледяными ночами
Не спишь и косишься на дверь.

Большая удача – родиться
В такой беспримерной стране.
Воистину есть чем гордиться,
Вперяясь в просторы в окне.
Но силы нужны и отвага
Сидеть под таким сквозняком!
И вся-то защита – бумага
Да лампа над тесным столом.

Буквы

В латинском шрифте, видим мы,
Сказались римские холмы
И средиземных волн барашки,
Игра чешуек и колец.
Как бы ползут стада овец,
Пастух вино сосет из фляжки.

Зато грузинский алфавит
На черепки мечом разбит
Иль сам упал с высокой полки.
Чуть дрогнет утренний туман –
Илья, Паоло, Тициан
Собирают круглые осколки.

А в русских буквах «же» и «ша»
Живет размашисто душа,
Метет метель, шумя и пенясь.
В кафтане бойкий ямщикок,
Удал, хмелен и краснощек,
Лошадкой правит, подбоченясь.

А вот немецкая печать,
Так трудно буквы различать,
Как будто марбургские крыши.
Густая готика строки.
Ночные окрики, шаги.
Не разбудить бы! Тише! Тише!

Летит еврейское письмо.
Куда? – Не ведает само,
Слова написаны, как ноты.
Скорее скрипочку хватай,
К щеке платочек прижимай,
Не плачь, играй... Ну что ты? Что ты?

«И если в ад я попаду...»

И если в ад я попаду,
Есть наказание в аду
И для меня: не лед, не пламя!
Мгновенья те, когда я мог
Рискнуть, но стыл и тер висок,
Опять пройдут перед глазами.

Всё счастье, сколько упустил,
В саду, в лесу и у перил,
В пути, в гостях и темном море...
Есть казнь в аду таким, как я:
То рай прошедшего житья,
Тоска о смертном недоборе.

«Вот сижу на шатком стуле...»

Вот сижу на шатком стуле
В тесной комнате моей,
Пью вино «напареули»,
Что осталось от гостей.

Мы печальны – что причиной?
Нас не любят – кто так строг.
Всей спиной за гардиной
Белый чувствую снежок.

На подходе зимний праздник,
Хвоя, вата, серпантин.
С каждым годом всё прекрасней
Снег и запах легких вин.

И любовь от повторенья
Не тускнеет, просто в ней
Больше знанья и терпенья
И немислимых вещей.

«Скатерть, радость, благодать!..»

Скатерть, радость, благодать!
За обедом с проволочкой
Под столом люблю сгибать
Край ее с машинной строчкой.

Боже мой! Еще живу!
Всё могу еще потрогать
И каемку, и канву,
И на стол поставить локоть!

Угол скатерти в горсти.
Даже если это слабость,
О бессмыслица, блести!
Не кончайся, скатерть, радость!

Семидесятые

«Письмо» (1974)

«Эти вечные счета, расчеты, долги...»

Эти вечные счета, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты.
Испещренные цифрами черновики.
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом – расходы.

То ли в карты играл? То ли в долг занимал?
Было пасмурно, осень.
Век железный – зато и презренный металл.
Или рощу сажал и считал, и считал,
Сколько высадил елей и сосен?

Эта жизнь так нелепо и быстро течет!
Покажи, от чего начинать нам отсчет,
Чтоб не сделать ошибки?
Стих от прозы не бегают, наоборот!
Свет осенний и зыбкий.

Под высокими окнами, бурей гоним,
Мчится клен, и высоко взлетают над ним
Медных листьев тройчатки.
К этим сотням и тысячам круглым твоим
Приплюсуем десятки.

Снова дикая кошка бежит по пятам,
Приближается время платить по счетам,
Всё страшней ее взгляды:
Забегает вперед, прижимает к кустам –
И не будет пощады.

Всё равно эта жизнь и в конце хороша,
И в долгах, и в слезах, потому что свежа!
И послушная рифма,
Выбегая на зов, и легка, как душа,
И точна, точно цифра!

«У меня зазвонил телефон...»

У меня зазвонил телефон.
То не слон говорил. Что за стон!
Что за буря и плач? И гудки?
И щелчки, и звонки. Что за тон!

Я сказал: «Ничего не слышать».
И в ответ застонало опять,
Загудело опять, и едва
Долетали до слуха слова:

«Вам звонят из Уфы». – Перерыв.
«Плохо слышно, увы». – Перерыв.
«Все архивы Уфы перерыв,
Не нашли мы, а вы?» – Перерыв.

«Все труды таковы, – говорю. –
С кем, простите, сейчас говорю?»
«Нет, простите, с кем мы говорим?
В прошлый раз говорили с другим!»

Кто-то в черную трубку дышал.
Зимний ветер ему подвывал.
Словно зверь, притаясь, выжидал.
Я нажал рычажок – он пропал.

Сон

Я ли свой не знаю город?
Дождь пошел. Я поднял ворот.
Сел в трамвай полупустой.
От дороги Турухтанной
По Кронштадтской... вид туманный...
Стачек, Трефолева... стой!

Как по плоскости наклонной,
Мимо темной Оборонной.
Всё смешалось... не понять...
Вдруг трамвай свернул куда-то,
Мост, канал, большого сада
Темень, мост, канал опять.

Ничего не понимаю!
Слева тучу обгоняю,

Справа в тень ее вхожу,
Вижу пасмурную воду,
Зелень, темную с исподу,
Возвращаюсь и кружу.

Чья ловушка и причуда?
Мне не выбраться отсюда!
Где Фонтанка? Где Нева?
Если это чья-то шутка,
Почему мне стало жутко
И слабеет голова?

Этот сад меня пугает,
Этот мост не так мелькает,
И вода не так бежит,
И трамвайный бег бесстрастный
Приобрел уклон опасный,
И рука моя дрожит.

Вид у нас какой-то сырый.
Где другие пассажиры?
Было ж несколько старух!
Никого в трамвае нету.
Мы похожи на комету,
И вожатый слеп и глух.

Вровень с нами мчатся рядом
Все, кому мы были рады
В прежней жизни дорогой.
Блещут слезы их живые,
Словно капли дождевые.
Плачут, машут нам рукой.

Им не видно за дождями,
Сколько встало между нами
Улиц, улочек и рек.
Так привозят в парк трамвайный
Не заснувшего случайно,
А уснувшего навек.

«Кто-то плачет всю ночь...»

Кто-то плачет всю ночь.
Кто-то плачет у нас за стеною.
Я и рад бы помочь –
Не пошлет тот, кто плачет, за мною.
Вот затих. Вот опять.

«Спи, – ты мне говоришь, – показалось».
Надо спать, надо спать.
Если б сердце во тьме не сжималось!
Разве плачут в наш век?
Где ты слышал, чтоб кто-нибудь плакал?
Суше не было век.
Под бесслезным мы выросли флагом.
Только дети – и те,
Услыхав: «Как не стыдно?» – смолкают.
Так лежим в темноте.
Лишь часы на столе подтекают.
Кто-то плачет вблизи.
«Спи, – ты мне говоришь, – я не слышу».
У кого ни спроси –
Это дождь задевает за крышу.
Вот затих. Вот опять.
Словно глубже беду свою прячет.
А начну засыпать –
«Подожди, – говоришь, – кто-то плачет!»

«Человек привыкает...»

Человек привыкает
Ко всему, ко всему.
Что ни год получает
По письму, по письму.
Это в белом конверте
Ему пишет зима.
Обещанье бессмертья –
Содержанье письма.
Как красив ее почерк!
Не сказать никому.
Он читает листочек
И не верит ему.
Зимним холодом дышит
У реки, у пруда.
И в ответ ей не пишет
Никогда, никогда.

«Конверт какой-то странный, странный...»

Конверт какой-то странный, странный,
Как будто даже самодельный,
И штемпель смазанный, туманный,
С пометкой давности недельной,

И марка странная, пустая,
Размытый образ захолустья:
Ни президента Уругвая,
Ни Темзы, – так, какой-то кустик.

И буква к букве так теснятся,
Что почерк явно засекречен.
Внизу, как можно догадаться,
Обратный адрес не помечен.
Тихонько рву конверт по краю
И на листе бумаги плотном
С трудом по-русски разбираю
Слова в смятенье безотчетном.

«Мы здесь собрались кругом тесным
Тебя заверить в знак вниманья
В размытом нашем, повсеместном,
Ослабленном существованье.
Когда ночами (бред какой-то!)
Воюет ветер с темным садом,
О всех не скажем, но с тобой-то,
Молчи, не вздрагивай, мы рядом.

Не спи же, вглядывайся зорче,
Нас различай поодиночке».
И дальше почерк неразборчив,
Я пропускаю две-три строчки.
«Прощай! Чернила наши блеклы,
А почта наша ненадежна,
И так в саду листва намокла,
Что шага сделать невозможно».

Лавр

Не помнит лавр вечнозеленый,
Что Дафной был, и бог влюбленный
Его преследовал тогда;
К его листве остроконечной
Подносит руку первый встречный
И мнет, не ведая стыда.

Не помнит лавр вечнозеленый,
И ты не помнишь, утомленный
Путем в Батум из Кобулет,
Что кустик этот глянцевитый,
Цветами желтыми увитый,
Еще Овидием воспет.

Выходит дождик из тумана,
Несет дымком из ресторана,
И Гоги в белом пиджаке
Не помнит, сдал с десятки сдачу
Иль нет... а лавр в окне маячит...
А сдача – вот она, в руке.

Какая долгая разлука,
И блекнет память, и подруга
Забыла друга своего,
И ветвь безжизненно упала,
И море плещется устало,
Никто не помнит ничего.

«Ну прощай, прощай до завтра...»

Ну прощай, прощай до завтра,
Послезавтра, до зимы.
Ну прощай, прощай до марта.
Зиму порознь встретим мы.

Порознь встретим и проводим.
Ну прощай до лучших дней.
До весны. Глаза отводим.
До весны. Еще поздней.

Ну прощай, прощай до лета.
Что ж перчатку теревить?
Ну прощай до как-то, где-то,
До когда-то, может быть.

Что ж тянуть, стоять в передней.
Да и можно ль быть точней?
До черты прощай последней,
До смертельной. И за ней.

«Я к ночным облакам за окном присмотрюсь...»

Я к ночным облакам за окном присмотрюсь,
Отодвинув суровую штору.
Был я счастлив – и смерти боялся. Боюсь
И сейчас, но не так, как в ту пору.

Умереть – это значит шуметь на ветру

Вместе с кленом, глядящим понуро.
Умереть – это значит попасть ко двору
То ли Ричарда, то ли Артура.

Умереть – расколоть самый твердый орех,
Все причины узнать и мотивы.
Умереть – это стать современником всех,
Кроме тех, кто пока еще живы.

«Расположение вещей...»

Расположение вещей
На плоскости стола,
И преломление лучей,
И синий лед стекла.

Сюда – цветы, тюльпан и мак,
Бокал с вином – туда.
«Скажи, ты счастлив?» – «Нет». – «А так?»
«Почти». – «А так?» – «О да!»

«Какое счастье, благодать...»

Какое счастье, благодать
Ложиться, укрываться,
С тобою рядом засыпать,
С тобою просыпаться!

Пока мы спали, ты и я,
В саду листва шумела
И с неба темные края
Сверкали то и дело.

Пока мы спали, у стола
Чудак с дремотой спорил,
Но спал я, спал, и ты спала,
И сон всех ямбов стоил.

Мы спали, спали... Наравне
С любовью и бессмертьем
Давалось даром то во сне,
Что днем – сплошным усердьем.

Мы спали, спали, вопреки,
Наперекор, вникали

В узоры сна и завитки,
В детали, просто спали.

Всю ночь. Прильнув к щеке щекой.
С доверчивостью птичьей.
И в незащитности такой
Сходило к нам величье.

Всю ночь в наш сон ломился гром,
Всю ночь он ждал ответа:
Какое счастье – сон вдвоем,
Кто нам позволил это?

«Уходит лето. Ветер дует так...»

Уходит лето. Ветер дует так,
Что кажется, не лето – жизнь уходит,
И ежится, и ускоряет шаг,
И плечиком от холода поводит.

По пням, по кочкам, прямо по воде.
Ей зимние не по душе заботы.
Где дом ее? Ах, боже мой, везде!
Особенно, где синь и пароходы.

Уходит свет. Уходит жизнь сама.
Прислушайся в ночи: любовь уходит,
Оставив осень в качестве письма,
Где доводы последние приводит.

Уходит муза. С кленов, с тополей
Летит листва, летят ей вслед стрекозы.
И женщины уходят всё быстрее,
Почти бегом, опережая слезы.

«О, слава, ты так же прошла за дождями...»

О, слава, ты так же прошла за дождями,
Как западный фильм, не увиденный нами,
Как в парк повернувший последний трамвай, –
Уже и не надо. Не стоит. Прощай!

Сломалась в дороге твоя колесница,
На юг улетела последняя птица,
Последний ушел из Невы теплоход.

Я вышел на Мойку: зима настает.

Нас больше не мучит желание славы,
Другие у нас представленья и нравы,
И милая спит, и в ночной тишине
Пусть ей не мешает молва обо мне.

Снежок выпадает на город туманный.
Замерз на афише концерт фортепьянный.
Пружины дверной глуховатый щелчок.
Последняя рифма стучится в висок.

Простимся без слов, односложно и сухо.
И музыка медленно выйдет из слуха,
Как после купанья вода из ушей,
Как маленький, теплый, щекотный ручей.

«Умереть, не побывав в Париже...»

Умереть, не побывав в Париже,
Не такая уж беда.
Можно выбрать что-нибудь поближе.
Есть другие города.

Спутник наш в метелях и вожатый,
Разве он угрюм
Оттого, что вместо луврских статуй
Он увидел Арзрум?

Всё же кое-что в тумане видно:
Обелиск, Мулен де ла Галетт...
Александр Сергеевич, мне стыдно,
Что я был в Париже, а вы – нет.

Как у вас лимоном полночь дышит
И Лаура для гостей поет,
А вдали, на севере – в Париже
Дождь идет.

Побывав дней пять в чужой столице,
Поглазев на Нотр-Дам,
Кто у нас стихов о загранице
Не писал, с бравадой пополам?

Только вы, в сугробах утопая
На глухом Конюшенном мосту.
Ненавижу Николая

За его железную узду!

Страшен Мойки вид мемориальный,
Роковой оттенок синевы,
Полумертвый и полуподвальный,
Где лежали вы.

Как боюсь я вот таких диванов,
Скрытых тех пружин.
Взгляд бежит от хроник и романов
Словно впрыснут атропин.

От любви. От выстуженной Леты.
От зимы, сжимающей виски.
От чего еще с ума поэты
Сходят? От тоски.

Ах какой широкою метелью
К ночи тянет ледяной.
Говорят, вы учите веселью
И гармонии сплошной.

Сделайте ученику плохому
Милость, дайте знак,
Что теперь у вас всё по-другому,
Веселей, не так...

Как при хмурой он хорош погоде,
Фиолетов, рыж!
Или там, где вы теперь живете,
Не проблема – дождик и Париж?

Вместо статьи о Вяземском

Я написать о Вяземском хотел,
Как мрачно исподлобья он глядел,
Точнее, о его последнем цикле.
Он жить устал, он прозябать хотел.
Друзья уснули, он осиротел;
Те умерли вдали, а те погибли.

С утра надев свой клетчатый халат,
Сидел он в кресле, рифмы не попад
Дразнить его под занавес являлись.
Он видел: смерть откладывает срок.
Вздыхал над ним злопамятливый бог,
И музы, приходя, его боялись.

Я написать о Вяземском хотел,
О том, как в старом кресле он сидел,
Без сил, задув свечу, на пару с нею.
Какие тени в складках залегли,
Каким поэтом мы пренебрегли,
Забыв его, но чувствую: мрачнею.

В стихах своих он сам к себе жесток,
Сочувствия не ищет, как листок,
Что корчится под снегом, леденя.
Я написать о Вяземском хотел,
Еще не начал, тут же охладел
Не к Вяземскому, а к самой затее.

Он сам себе забвенью предсказал,
И кажется, что зла себе желал
И медленно сживал себя со свету
В такую тьму, где слова не прочесть.
И шепчет мне: оставим всё как есть.
Оставим всё как есть: как будто нету.

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки...

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки,
У стриженных лип на виду,
Глотая туманный и стойкий
Бензинный угар на ходу,
Меж Марсовым полем и садом
Михайловским, мимо былых
Конюшен, широким обхватом
Державших лошадок лихих.

Пойдем же! Чем больше названий,
Тем стих достоверней звучит,
На нем от решеток и зданий
Тень так безупречно лежит.
С тыняновской точной подсказкой
Пойдем же вдоль стен и колонн,
С лексической яркой окраской
От собственных этих имен.

Пойдем по дуге, по изгибу,
Где плоская, в пятнах, волна
То тучу качает, как рыбу,
То с вазами дом Фомина,
Пойдем мимо пушкинских окон,

Музейных подобранных штор,
Минуем Капеллы широкой
Овальный, с афишами, двор.

Вчерашние лезут билеты
Из урн и подвальных щелей.
Пойдем, как по берегу Леты,
Вдоль окон пойдем и дверей,
Вдоль здания Главного штаба,
Его закулисной стены,
Похожей на желтого краба
С клешней непомерной длины.

Потом через Невский, с разбегу,
Всё прямо, не глядя назад,
Пойдем, заглядевшись на реку
И Строганов яркий фасад,
Пойдем, словно кто-то однажды
Уехал иль вывезен был
И умер от горя и жажды
Без этих колонн и перил.

И дальше, по левую руку
Узнав Воспитательный дом,
Где мы проходили науку,
Вдоль черной ограды пойдем,
И, плаваясь на шпигеле от солнца,
Пускай в раздвижных небесах
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Как ветром нас тянет и тянет.
Длинноты в стихах не любя,
Ты шепчешь: читатель устанет! –
Не бойся, не больше тебя!
Он, ветер вдыхая холодный,
Не скажет тебе, может быть,
Где счастье прогулки свободной
Ему помогли полюбить.

Пойдем же по самому краю
Тоски, у зеленой воды,
Пойдем же по аду и раю,
Где нет между ними черты,
Где памяти тянется свиток,
Развернутый в виде домов,
И столько блаженства и пыток,
Двузначных больших номеров.

Дом Связи – как будто коробка
И рядом еще коробок.
И дом, где на лестнице робко
Я дергал висячий звонок.
И дом, где однажды до часу
В квартире чужой танцевал.
И дом, где я не был ни разу,
А кажется, жил и бывал.

Ну что же? Юсуповский желтый
Остался не назван дворец
Да словно резинкой подтертый
Голландии Новой багрец.
Любимая! Сколько упорства,
Обид и зачеркнутых строк,
Отчаянья, противоборства
И гребли, волнам поперек!

Твою ненаглядную руку
Так крепко сжимая в своей,
Я всё отодвинуть разлуку
Пытаюсь, но помню о ней...
И может быть, это сверканье
Листвы, и дворцов, и реки
Возможно лишь в силу страданья
И счастья, ему вопреки!

«Прямая речь» (1975)

«Пряатель мой строг...»

Пряатель мой строг,
Необщей печатью отмечен,
И молод, и что ему Блок?
– Ах, маменькин этот сынок?
– Ну, ну, – отвечаю, – полегче.

Вчера я прилег,
Смежил на мгновенье ресницы –
Вломился в мой сонный висок
Обугленный гость, словно рок,
С цветком сумасшедшим в петлице.

Смешался на миг,
Увидев, как я растерялся.
И в свитере снова возник,
И что-то бубнил, и на крик,
Как невская чайка, срывался.

Вздымала Нева
За ним просмоленную барку.
Полдня разгружал он дрова.
На небо взглянул – синева.
Обрадовался, как подарку.

Потом у перил
Стоял, выправляя дыханье.
Я счастлив, что он захватил
Другую эпоху, ходил
За справками и на собранье.

Как будто привык.
Дежурства. Жилплощадь. Зарплата.
Зато – у нас общий язык.
Начну предложенье – он вмиг
Поймет. Продолжать мне не надо.

«Себе бессмертье представляя...»

Себе бессмертье представляя,
Я должен был пожать плечом:

Мне эта версия благая
Не говорила ни о чем.

Как вдруг одно соображенье
Блеснуло ярче остальных:
Что, если вечность – расширение
Всех мимолетностей земных?

Допустим, ты смотрел на вилку,
Не видя собственной руки,
Двух слив, упавших за бутылку,
И покрасневшейся щеки.

Теперь ты сможешь на досуге
Увидеть вдруг со всех сторон
Накрытый стол, лицо подруги,
Окно, деревья, небосклон.

«Быть нелюбимым! боже мой!..»

Быть нелюбимым! боже мой!
Какое счастье быть несчастным!
Идти под дождиком домой
С лицом потерянным и красным.

Какая мука, благодать
Сидеть с закушенной губою,
Раз десять на день умирать
И говорить с самим собою.

Какая жизнь – сходить с ума!
Как тень, по комнате шататься!
Какое счастье – ждать письма
По месяцам – и не дожидаться.

Кто нам сказал, что мир у ног
Лежит в слезах, на всё согласен?
Он равнодушен и жесток.
Зато воистину прекрасен.

Что с горем делать мне моим?
Спи, с головой в ночи укройся.
Когда б я не был счастлив им,
Я б разлюбил тебя, не бойся!

«С утра по комнате кружа...»

С утра по комнате кружа,
С какой готовностью душа
Себе устраивает горе!
(Так лепит ласточка гнездо.)
Не отвлечет ее ничто
Ни за окном, ни в разговоре.

Напрасно день блестящ и чист,
Ее не манит клейкий лист,
Ни стол, ни книжная страница.
Какой плохой знаток людей
Сказал, что счастье нужно ей?
Лишь с горем можно так носиться.

«Показалось, что горе прошло...»

Показалось, что горе прошло
И узлы развязались тугие.
Как-то больше воды утекло
В этот год, чем в другие.

Столько дел надо было кончать,
И погода с утра моросила.
Так что стал я тебя забывать,
Как сама ты просила.

Дождик шел и смывал, и смывал
Безнадежные те отношенья.
Раньше в памяти этот провал
Называли: забвенья.

Лишь бы кончилось, лишь бы не жгло,
Как бы ни называлось.
Показалось, что горе прошло.
Не прошло. Показалось.

«Как люблю я полубред...»

Как люблю я полубред
Книг, стареющих во мраке,
Те страницы, что на свет –

Словно денежные знаки.

И поэтов тех люблю,
Что плывут в поля иные,
Словно блики по стеблю
Или знаки водяные.

Блеск бумаги желт и мглист.
Как лошадка, скачет строчка.
Всё разнять стремишься лист,
Словно слиплось три листочка.

Словно там-то, среди трех,
Второпях пропущен нами,
Самый тихий спрятан вздох,
Самый легкий взмах руками.

В кафе

В переполненном, глухо гудящем кафе
Я затерян, как цифра в четвертой графе,
И обманут вином тепловатым.
И сосед мой брезглив и едой утомлен,
Мельхиоровым перстнем любитесь он
На мизинце своем волосатом.

Предзакатное небо висит за окном
Пропускающим воду сырым полотном,
Луч, прорвавшись, крадется к соседу,
Его перстень горит самоварным огнем.
«Может, девочек, – он говорит, – позовем?»
И скучает: «Хорошеньких нету».

Через миг погружается вновь в полутьму.
Он молчит, так как я не ответил ему.
Он сердит: рассчитаться бы, что ли?
Не торопится к столику официант,
Поправляет у зеркала узенький бант.
Я на перстень гляжу поневоле.

Он волшебный! хозяин не знает о том.
Повернуть бы на пальце его под столом –
И, пожалуйста, синее море!
И коралловый риф, что вскипал у Моне
На приехавшем к нам погостить полотне,
В фиолетово-белом уборе.

Повернуть бы еще раз – и в Ялте зимой
Оказаться, чтоб угольщик с черной каймой
Шел к причалу, как в траурном крепе.
Снова луч родничком замерцал и забил,
Этот перстень... на рынке его он купил,
Иль работает сам в ширпотребе?

А как в третий бы раз, не дыша, повернуть
Этот перстень – но страшно сказать что-нибудь:
Всё не то или кажется – мало!
То ли рыжего друга в дверях увидеть?
То ли этого типа отсюда убрать?
То ли юность вернуть для начала?

Белые ночи

Пошли на убыль эти ночи,
Еще похожие на дни.
Еще кромешный полог, скорчась,
Приподнимают нам они,
Чтоб различали мы в испуге,
Клонясь к подушке меловой,
Лицо любви, как в смертной муке
Лицо с закушенной губой.

«В тот год я жил дурными новостями...»

В тот год я жил дурными новостями,
Бедой своей, и болью, и виною.
Сухими, воспаленными глазами
Смотрел на мир, мерцавший предо мною.

И мальчик не заслуживал вниманья,
И дачный пес, позевывавший нервно.
Трагическое мирозерцанье
Тем плохо, что оно высокомерно.

«Взметнутся голуби гирляндой черных нот...»

Взметнутся голуби гирляндой черных нот.
Как почерк осени на пушкинский похож!
Сквозит, спохватишься и силы соберешь.
Ты старше Моцарта, и Пушкина вот-вот

Переживешь.

Друзья гармонии, смахнув рукой со лба
Усталость мертвую, принять беспечный вид
С утра стараются, и всё равно судьба
Скупа, слепа,
К ним беспощадная, зато тебя щадит.

О, ты-то выживешь! залечишь – и пройдет.
С твоею мрачностью! без слез, гордясь собой,
Что сух, как лед.
А эта пауза, а этот перебой –
Завалит листьями и снегом заметет.

С твоею тяжестью! сырые облака
По небу тянутся, как траурный обоз,
Через века.
Вот маска с мертвого, вот белая рука –
Ничто не сгладилось, ничто не разошлось.

Они не вынесли, им не понятно, как
Живем до старости, справляемся с тоской,
Долгами, нервами и ворохом бумаг...
Музейный узенький рассматриваем фрак,
Лорнет двойной.

Глядим во тьму.
Земля просторная, но места нет на ней
Ни взмаху легкому, ни быстрому письму.
И всё ж в присутствии их маленьких теней
Не так мучительно, не знаю почему.

«Исследовав, как Критский лабиринт...»

Исследовав, как Критский лабиринт,
Все закоулки мрачности, на свет
Я выхожу, разматывая бинт.
Вопросов нет.

Подсохла рана.
И слезы высохли, и в мире – та же сушь.
И жизнь мне кажется, когда встаю с дивана,
Улиткой с рожками, и вытекшей к тому ж.

От Минотавра
Осталась лужица, точнее, тень одна.
И жизнь мне кажется отложенной на завтра,

На послезавтра, на другие времена.

Она понадобится там, потом, кому-то,
И снова кто-нибудь, разбуженный листвой,
Усмотрит чудо
В том, что пружинкою свернулось заводной.

Как в погребушке, в раковине слуха
Обида ссохшаяся дням теряет счет.
Пусть смерть-старуха
Ее оттуда с треском извлечет.

Звонит мне под вечер приятель, дуя в трубку.
Плохая слышимость. Всё время рвется нить.
«Читать наскучило. И к бабам лезть под юбку.
Как дальше жить?»

О жизнь, наполненная смыслом и любовью,
Хлынь в эту паузу, блесни еще хоть раз
Страной ли, музою, припавшей к изголовью,
Постой у глаз

Водою в шлюзе,
Всё прибывающей, с буксиром на груди.
Высоким уровнем. Системою иллюзий.
Еще какой-нибудь миражик заведи.

«Взамен любовной переписки...»

Сергею Коробову

Взамен любовной переписки,
Ее свободней и точней.
Слетают письма от друзей
С нагорных троп и топей низких,

Сырым пропахшие снежком,
Дорожной гарью и мешком,
Погодой зимней и ненастной.
И на конверте голубом
Чернеет штамп волнообразный.

Собой расталкивая мрак,
То из Тюмени, то с Алтая.
И ходит строчка стиховая
Меж нами, как масонский знак.

Родную душу узнаю,
На дальний оклик отвечаю,
Как будто на валу стою.
Соединить бы всю семью,
Да как собрать ее – не знаю.

«Голос» (1978)

Руины

Для полного блаженства не хватало
Руин, их потому и возводили
В аллеях из такого матерьяла,
Чтобы они на хаос походили,
Из мрамора, из праха и развала,
Гранитной кладки и кирпичной пыли.

И нравилось, взобравшись на обломок,
Стоять на нем, вздыхая сокрушенно.
Средь северных разбавленных потемок
Всплывал мираж Микен и Парфенона.
Татарских орд припудренный потомок
И Фельтена ценил, и Камерона.

Когда бы знать могли они, какие
Увидит мир гробы и разрушенья!
Я помню с детства остовы нагие,
Застывший горя лик без выраженья.
Руины... Пусть любят другие,
Как бузина цветет средь запустенья.

Я помню те разбитые кварталы
И ржавых балок крен и провисанье.
Как вы страшны, бывшие идеалы,
Как вы горьки, любовные прощанья,
И старых дружб мгновенные обвалы,
Отчаянья и разочарованья!

Вот человек, похожий на руину.
Зияние в его глазах разверстых.
Такую брешь, и рану, и лавину
Не встретишь ты ни в Дрезденах, ни в Брестах.
И дом постыл разрушенному сыну,
И нет ему забвения в отъездах.

Друзья мои, держитесь за перила,
За этот куст, за живопись, за строчку,
За лучшее, что с нами в жизни было,
За сбивчивость беды и проволочку,
А этот храм не молния разбила,
Он так задуман был. Поставим точку.

В развале этом, правильно-дотошном,
Зачем искать другой, кроваво-ржавый?
Мы знаем, где искать руины: в прошлом.
А будущее ни при чем, пожалуй.
Сгинь, призрак рваный, в мареве сполошном!
Останься здесь, но детской забавой.

«Слово «нервный» сравнительно поздно...»

Слово «нервный» сравнительно поздно
Появилось у нас в словаре
У некрасовской музы нервной
В петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
В его желчном трехсложнике шла,
Разночинная пылкая ссора
И в любви его темой была.
Крупный счет от модистки, и слезы,
И больной, истерический смех.
Исторически эти неврозы
Объясняются болью за всех,
Переломным сознанием и бытом.
Эту нервность, и бледность, и пыл,
Что неведомы сильным и сытым,
Позже в женщинах Чехов ценил,
Меж двух зол это зло выбирая,
Если помните... ветер в полях,
Коврин, Таня, в саду дымовая
Горечь, слезы и черный монах.
А теперь и представить не в силах
Ровной жизни и мирной любви.
Что однажды блеснуло в чернилах,
То навеки осталось в крови.
Всех еще мы не знаем резервов,
Что еще обнаружат, бог весть,
Но спроси нас: – Нельзя ли без нервов?
– Как без нервов, когда они есть! –
Наши ссоры. Проклятые тряпки.
Сколько денег в июне ушло!
– Ты припомнил бы мне еще тапки.
– Ведь девятое только число, –
Это жизнь? Между прочим, и это.
И не самое худшее в ней.
Это жизнь, это душное лето,
Это шорох густых тополей,
Это гулкое хлопанье двери,
Это счастья неприбранный вид,

Это, кроме высоких материй,
То, что мучает всех и роднит.

«Я шел вдоль припухлой тяжелой реки...»

Я шел вдоль припухлой тяжелой реки,
Забывшись, и вздрогнул у моста Тучкова
От резкого запаха мокрой пенки.
В плащах рыбаки
Стояли уныло, и не было клева.

Свинцовая, сонная, тусклая гладь.
Младенцы в такой забываются зыбке.
Спать, глупенький, спать.
Я вздрогнул: я тоже всю жизнь простоять
Готов у реки ради маленькой рыбки.

Я жизнь разлюбил бы, но запах сильнее
Велений рассудка.
Я жизнь разлюбил бы, я тоже о ней
Не слишком высокого мнения. Будка,
Причал, и в коробках – шнурочки червей.

Я б жизнь разлюбил, да мешает канат
И запах мазута, веселый и жгучий.
Я жизнь разлюбил бы – мазут виноват
Горячий. Кто мне объяснит этот случай?
И липы горчат.

Не надо, оставьте ее на меня,
Меня на нее, отступитесь, махните
Рукой, мы поладим: реки простыня,
И складки на ней, и слепящие нити
Дождливого дня.

Я жизнь разлюбил бы, я с вами вполне
Согласен, но, едкая, вот она рядом
Свернулась, и сохнет, и снова в цене.
Не вырваться мне.
Как будто прикручен к ней этим канатом.

«Времена не выбирают...»

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.

Большей пошлости на свете
Нет, чем кланчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.

Ты себя в счастливицы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время – это испытанье.
Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.
Время – кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас – его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.

Разговор в прихожей

Не наговорились. В прихожей, рукой
С четвертой попытки в рукав попадая,
О Данте, ни больше ни меньше, с такой
Надсадой и страстью заспорить: – Ни рая,
Ни ада его не люблю. – Подожди,
Как можно... – (И столько же тщетных попыток
Открыть без хозяина дверь, позади
Торчащего.) – Вся эта камера пыток
Не может нам искренне нравиться. – Он
Подобен всевышнему. – Что же так скучен?
– Ну, знаешь... – И с новым запалом вдгон
Трясущему дверь: – Если ты равнодушен,

То это не значит еще... И потом,
Он гений и мученик. – В чем переводе
Читал ты его? Где мой зонт? – Не о том
Речь, в чем переводе. Подобен породе
Гранитной, с вкраплениями кварца, слюды.
И магма метафор, и шахта сюжета.
Вот зонт. Кстати, в моде складные зонты.
– Твой мрамор и шпат – из другого поэта,
Не Данте нашедшего в них, а себя,
Черты своего становленья и склада.
По-моему, век наш, направо губя
Людей и налево, от Дантова ада
Наш взор отвратил: зарывали и жгли
И мыслимых мук превзошли варианты...
Опомнись. Мы что, подобрать не могли
Просторнее места для спора о Данте?

«Заснешь и проснешься в слезах от печального сна...»

Заснешь и проснешься в слезах от печального сна.
Что ночью открылось, то днем еще не было ясно.
А формула жизни добыта во сне, и она
Ужасна, ужасна, ужасна, прекрасна, ужасна.

Боясь себя выдать и вздохом беду разбудить,
Лежит человек и тоску со слезами глотает,
Вжимаясь в подушку; глаза что открыть, что закрыть –
Темно одинаково; ветер в окно залетает.

Какая-то тень эту темень проходит насквозь,
Не видя его, и в ладонях лицо свое прячет.
Лежит неподвижно: чего он хотел, не сбылось?
Сбылось, но не так, как хотелось? Не скажет. Он плачет.

Под шорох машин, под шумок торопливых дождей
Он ищет подобье близости, в том, что привычно,
Не смея и думать, что всех ему ближе Орфей,
Когда тот пошел, камня, к Харону вторично.

Уже заплетаясь, готовый в тумане пропасть,
А ветер за шторами горькую пену взбивает,
И эту прекрасную, пятую, может быть, часть,
Пусть пятидесятью, пестует и раздувает.

«Сквозняки по утрам в занавесках и шторах...»

Сквозняки по утрам в занавесках и шторах
Занимаются лепкою бюстов и торсов.
Как мне нравится хлопанье это и шорох,
Громоздящийся мир уранид и колоссов.

В полотняном плену то плечо, то колено
Проступают, и кажется: дыбятся в схватке,
И пытаются в комнату выйти из плена,
И не в силах прорвать эти пленки и складки.

Мир гигантов, несчастных в своем ослепленье,
Обреченных всё утро вспухать пузырями,
Опадать и опять, становясь на колени,
Проступать, прилипая то к ручке, то к раме.

О, пергамский алтарь на воздушной подкладке!
И не надо за мрамором в каменоломни
Лезть; всё утро друг друга кладут на лопатки,
Подминают, и мнут, и внушают: запомни.

И всё утро, покуда ты нежишься, сонный,
В милосердной ночи залечив свои раны,
Там, за шторой, круглясь и толпясь, как колонны,
Напрягаются, спорят и гибнут титаны.

«Придешь домой, шурша плащом...»

Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек:
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.

Не надо призраков, теней:
Темна и без того.
Ах, проза в ней еще странней,
Таинственной всего.

Мне дорог жизни крупный план,
Неровности, озноб
И в ней увиденный изъян,
Как в сильный микроскоп.

Биолог скажет, винт кружа,

Что взгляда не отвести.
– Не знаю, есть ли в нас душа,
Но в клетке, – скажет, – есть.

И он тем более смущен,
Что в тайну посвящен.
Ну, значит, можно жить еще.
Таинственна еще.

Придешь домой, рука в мелу,
Как будто подпирал
И эту ночь, и эту мглу,
И каменный портал.

Нас учат мрамор и гранит
Не поминать обид,
Но помнить, как листва летит
К ногам кариатид.

Как мир качается – держись!
Уж не листву ль со щек
Смахнуть решили, сделав жизнь
Таинственной еще?

«Ты так печальна, словно с уст...»

Ты так печальна, словно с уст
Слететь признание готово.
Но ты молчишь, а впрочем, Пруст
Сказал об этом слово в слово,
Что лица женские порой
У живописцев на полотнах
Полны печали неземной,
Последних дум бесповоротных,
Меж тем как смысл печали всей
И позы их, и поворота –
Они глядят, как Моисей
Льет воду в желоб – вся забота!

Мужчина с розой

Мужчина с розой на портрете,
Ее он держит меж двух пальцев
За стебель гибкий и точеный,
Перевернув к себе затылком, –

Молодцевато и брезгливо,
Как все мужчины.

Что он мужчина, нет сомнений.
Напрасно б венский аналитик
Старался розу допросить
С пристрастьем: нет ли фетишизма,
Инверсионных отклонений, –
Их нет, им неоткуда быть.

К тому же, роза бессловесна,
Полузамучена верчением
В руке, не помнит, где мучитель,
Где стол, где кресло, где букет.

В кафтане, с пышными усами,
Мужчина с розой полумертвой
Глядит, не зная, что с ней делать.
Вдохнуть тончайший аромат
Ему и в голову, конечно,
Прийти не может (то ли дело –
Сорвать и даме поднести!).
Так и должны себя вести,
Так и должны чуть-чуть небрежно
Мужчины к жизни относиться,
К ее придушенной красе,
Как этот славный офицер
(тут нету места укоризне), –
Чуть-чуть неловко, неумело,
Затем что нечто, кроме жизни,
Есть: долг и доблесть, например.

«Любил – и не помнил себя, пробудясь...»

Любил – и не помнил себя, пробудясь,
Но в памяти имя любимой всплывало,
Два слога, как будто их знал отродясь,
Как если бы за ночь моим оно стало;
Вставал, машинально смахнув одеяло.

И отдых кончался при мысли о ней,
Недолг же он! И опять – наважденье.
Любил – и казалось: дойти до дверей
Нельзя, раза три не войдя в искушенье
Расстаться с собой на виду у вещей.

И старый норвежец, учивший вражде

Любовной еще наших бабушек, с полки
На стол попадал и читался в беде
Запойней, чем новые; фьорды и елки,
И прорубь, и авторский взгляд из-под челки.

Воистину мир этот слишком богат,
Ему нипочем разоренные гнезда.
Ах, что ему наш осуждающий взгляд!
Горят письма, и срываются звезды,
И заморозки забираются в сад.

Любил – и стоял к механизму пружин
Земных и небесных так близко, как позже
Уже не случилось; не знание причин,
А знание причуд; не топтанье в прихожей,
А пропуск в покои, где кресло и ложе.

Любил – и, наверное, тоже любим
Был, то есть отвержен, отмечен, замучен.
Какой это труд и надрыв – молодым
Быть; старым и всё это вынесшим – лучше.
Завидовал птицам и тварям лесным.

Любил – и теперь еще... нет, ничего
Подобного больше, теперь – всё в порядке,
Вот сны еще только не знают того,
Что мы пробудились, и любят загадки:
Завесы, и шторы, и сборки, и складки.

Любил... о, когда это было? Забыл.
Давно. Словно в жизни другой или веке
Другом, и теперь ни за что этот пыл
Понять невозможно и мокрые веки:
Ну что тут такого, любил – и любил.

Куст

Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождем и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного
Не меньше говорит, чем от Матфея.

Так бел и мокр, так эти грозди светятся,
Так лепестки летят с дичка задетого.
Ты слеп и глух, когда тебе свидетельства
Чудес нужны еще, помимо этого.

Ты слеп и глух, и ищешь виноватого,
И сам готов кого-нибудь обидеть.
Но куст тебя заденет, бесноватого,
И ты начнешь и говорить, и видеть.

«Какое чудо, если есть...»

Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если всё само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!

Мы разве в проигрыше? Нет.
Тогда всё тайна, всё секрет.
А жизнь совсем невероятна!
Огонь, несущийся во тьму!
Еще прекрасней потому,
Что невозвратно.

«Быть классиком – значит стоять на шкафу...»

Быть классиком – значит стоять на шкафу
Бессмысленным бюстом, топорща ключицы.
О Гоголь, во сне ль это всё, наяву?
Так чучело ставят: бекаса, сову.
Стоишь вместо птицы.

Он кутался в шарф, он любил мастерить
Жилеты, камзолы.
Не то что раздеться – куска проглотить
Не мог при свидетелях, – скульптором голый
Поставлен. Приятно ли классиком быть?

Быть классиком – в классе со шкафа смотреть
На школьников; им и запомнится Гоголь –
Не странник, не праведник, даже не щеголь,
Не Гоголь, а Гоголя верхняя треть.

Как нос Ковалева. Последний урок:
Не надо выдумывать, жизнь фантастична!
О юноши, пыль на лице, как чулок!
Быть классиком страшно, почти неприлично.
Не слышат: им хочется под потолок.

«Ребенок ближе всех к небытию...»

Ребенок ближе всех к небытию.
Его еще преследуют болезни,
Он клонится ко сну и забытью
Под зыбкие младенческие песни.

Его еще облизывает тьма,
Подкравшись к изголовью, как волчица,
Заглаживая проблески ума
И взрослые размазывая лица.

Еще он в белой дымке кружевной
И облачной, еще он запеленат,
И в пене полотняной и льняной
Румяные его мгновенья тонут.

Туманящийся с края бытия,
Так при смерти лежат, как он – при жизни,
Разнежившись без собственного «я»,
Нам к жалости живой и укоризне.

Его еще укачивают, он
Что помнит о беспамятстве – забудет.
Он вечный свой досматривает сон.
Вглядись в него: вот-вот его разбудят.

«Контрольные. Мрак за окном фиолетов...»

Контрольные. Мрак за окном фиолетов,
Не хуже чернил. И на два варианта
Поделенный класс. И не знаешь ответов.
Ни мужества нету еще, ни таланта.
Ни взрослой усмешки, ни опыта жизни.
Учебник достать – пристыдят и отнимут.
Бывал ли кто-либо в огромной отчизне,
Как маленький школьник, так грозно покинут!

Быть может, те годы сказались в особой
Тоске и ознобе? Не думаю, впрочем.
Ах, детства во все времена крутолобый
Вид – вылеплен строгостью и заморочен.
И я просыпаюсь во тьме полуночной
От смертной тоски и слепящего света

Тех ламп на шнурах, белизны их молочной,
И сердце сжимает оставленность эта.

И все неприятности взрослые наши:
Проверки и промахи, трепет невольный,
Любовная дрожь и свидание даже –
Всё это не стоит той детской контрольной.
Мы просто забыли. Но маленький школьник
За нас расплатился, покуда не вырос,
И в пальцах дрожал у него треугольник.
Сегодня бы, взрослый, он это не вынес.

«Был туман. И в тумане...»

Я. Гордицу

Был туман. И в тумане
Наподобье загробных теней
В двух шагах от французов прошли англичане,
Не заметив чужих кораблей.

Нельсон нервничал: он проморгал Бонапарта,
Мчался к Александрии, топтался у стен Сиракуз,
Слишком много азарта
Он вложил в это дело: упущен француз.

А представьте себе: в эту ночь никакого тумана!
Флот французский опознан, расстрелян, развеян, разбит.
И тогда – ничего от безумного шага и плана,
Никаких пирамид.

Вообще ничего. Ни империи, ни Аустерлица.
И двенадцатый год, и роман-эпопея – прости.
О туман! Бесприютная взвешенной влаги частица,
Хорошо, что у Нельсона встретила ты на пути.

Мне в истории нравятся фантасмагория, фанты,
Всё, чего так стыдятся историки в ней.
Им на жесткую цепь хочется посадить варианты,
А она – на корабль и подносит им с ходу – сто дней!
И за то, что она не искусство для них, а наука,
За обидой не лезет в карман.
Может быть, она мука,
Но не скука. Я вышел во двор, пригляделся: туман.

Сложив крылья

Крылья бабочка сложит,
И с древесной корой совпадет ее цвет.
Кто найти ее сможет?
Бабочки нет.

Ах, ах, ах, горе нам, горе!
Совпадут всеми точками крылья: ни щелки, ни шва.
Словно в греческом хоре
Строфа и антистрофа.

Как богаты мы были, да всё потеряли!
Захотели б вернуть этот блеск – и уже не могли б.
Где дворец твой? Слепец, ты идешь, спотыкаясь в печали.
Царь Эдип.

Радость крылья сложила
И глядит оборотной, тоскливой своей стороной.
Чем душа дорожила,
Стало мукой сплошной.

И меняется почерк,
И, склонясь над строкой,
Ты не бабочку ловишь, а жалкий, засохший листочек,
Показавшийся бабочкою под рукой.

И смеркается время.
Где разводы его, бархатистая ткань и канва?
Превращается в темень
Жизнь, узор дорогой различаешь в тумане едва.

Сколько бабочек пестрых всплывало у глаз и прельщало:
И тропический зной, и в лиловых подтеках Париж!
И душа обмирала –
Да мне голос шепнул: «Не туда ты глядишь!»

Ах, ах, ах, зорче смотрите,
Озираясь вокруг и опять погружаясь в себя.
Может быть, и любовь где-то здесь, только
в сложенном виде,
Примостилась, крыло на крыле, молчаливо любя?

Может быть, и добро, если истинно, то втихомолку.
Совершённое втайне, оно совершенно темно.
Не оставит и щелку,
Чтоб подглядывал кто-нибудь, как совершенно оно.

Может быть, в том, что бабочка знойные крылья сложила,
Есть и наша вина: слишком близко мы к ней подошли.
Отойдем – и вспорхнет, и очнется принцесса Брамбила
В разноцветной пыли!

«Сентябрь выметает широкой метлой...»

Сентябрь выметает широкой метлой
Жучков, паучков с паутиной сквозной,
Истерзанных бабочек, ссохшихся ос,
На сломанных крыльях разбитых стрекоз,
Их круглые линзы, бинокли, очки,
Чешуйки, распорки, густую пыльцу,
Их усики, лапки, зацепки, крючки,
Оборки, которые были к лицу.

Сентябрь выметает широкой метлой
Хитиновый мусор, наряд кружевной,
Как если б директор балетных теплиц
Очнулся – и сдунул своих танцовщиц.
Сентябрь выметает метлой со двора
За поле, за речку и дальше, во тьму,
Манжеты, застежки, плащи, веера,
Надежды на счастье, батист, бахрому.

Прощай, моя радость! До кладбища ос,
До свалки жуков, до погоста слепней,
До царства Плутона, до высохших слез,
До блеклых, в цветах, элизийских полей!

«С той стороны любви, с той стороны смертельной...»

С той стороны любви, с той стороны смертельной
Тоски мерещится совсем другой узор:
Не этот гибельный, а словно акварельный,
Легко и весело бегущий на простор.

О боль сердечная, на миг яви изнанку,
Как тополь с вывернутой на ветру листвой,
Как плащ распахнутый, как край полы, беглянку
Вдруг вынуждающий прижать пальто рукой.

Проси, чтоб дунуло, чтоб с моря в сад пахнуло
Бодрящей свежестью волн, бьющихся о мыс,

Чтоб слово ровное нам ветерком загнуло –
И мы увидели его ворсистый смысл.

«Как клен и рябина растут у порога...»

Как клен и рябина растут у порога,
Росли у порога Растрелли и Росси,
И мы отличали ампир от барокко,
Как вы в этом возрасте ели от сосен.
Ну что же, что в ложноклассическом стиле
Есть нечто смешное, что в тоге, в тумане
Сгустившемся, глядя на автомобили,
Стоит в простыне полководец, как в бане?
А мы принимаем условность, как данность.
Во-первых, привычка. И нам объяснили
В младенчестве эту веселую странность,
Когда нас за ручку сюда приводили.
И эти могучие медные складки,
Прилипшие к телу, простите, к мундиру,
В таком безупречном ложатся порядке,
Что в детстве внушают доверие к миру,
Стремление к славе. С каких бы мы точек
Ни стали смотреть – всё равно загляденье.
Особенно если кружится листочек
И осень, как знамя, стоит в отдаленье.

«Если камешки на две кучки спорных...»

Е. Невзглядовой

Если камешки на две кучки спорных
Мы разложим, по разному их цвету,
Белых больше окажется, чем черных.
Марциал, унывать нам смысла нету.
Если так у вас было в жестком Риме,
То, поверь, точно так и в Ленинграде,
Где весь день под ветрами ледяными
Камни в мокром красуются наряде.

Слышен шелест чужого разговора.
Колоннада изогнута, как в Риме.
Здесь цветут у Казанского собора
Трагедийные розы в жирном гриме.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.